

Гуго фон Гофмансталь

ПИСЬМО ЛОРДА ЧЭНДОСА

Это письмо написал Филипп лорд Чэндос, младший сын графа Батского, своему другу Фрэнсису Бэкону, впоследствии лорду Веруламскому и виконту Сент-Альбанскому, в оправдание своего решительного отказа от литературной деятельности.

Вы очень добры, мой высокочтимый друг, что написали мне, несмотря на мое двухлетнее молчание. Вы более чем добры, придав Вашим недоумениям и Вашей озабоченности по поводу духовного оцепенения, владеющего, как Вам кажется, мною, выражение легкости и шутки, на что способны лишь люди великие, глубоко чувствующие опасности жизни, но не теряющие мужества.

Приводя в заключение афоризм Гиппократы: «*Qui gravi morbo correpti dolores non sentiunt, ilis mens aegrotat*» («если одержимый таким недугом не чувствует боли, он душевнобольной»), вы полагаете, что лекарство необходимо мне не только для того, чтобы справиться с недугом, но более всего для того, чтобы пристальнее взглянуть в состояние моей души. Мне хотелось бы ответить Вам так, как того заслуживают Ваши чувства ко мне, хотелось бы открыться Вам совершенно, но я не знаю, как сделать это. Да и ко мне ли нынешнему обращено Ваше драгоценное письмо? Неужто это мною, которому сейчас двадцать шесть, в девятнадцать единым духом написаны и «Новый Парис», и «Сон Дафны», и «Эпиталама», напоенные велеречивым дурманом пасторали, вспоминать о которых нашу божественную королеву и других снисходительных лордов и господ побуждает разве что избыток доброты. Неужто это мне было двадцать три, и была Венеция, аркады на великой площади, и во мне звучала мерная поступь латинских периодов, дух и строй которых волновали больше, чем возносившиеся из вод творения Палладия и Сансовина? Оставайся я прежним, разве могли бы так непостижимо быстро зарубцеваться раны, оставленные в сердце другим порождением моих мучительнейших раздумий — ведь даже самое заглавие этого маленького трактата в Вашем письме, которое лежит сейчас предо мною, представляется мне чужим и холодным, так что я не способен воспринять его сразу как знакомый образ связной речи, но должен разбирать его слово за словом, будто впервые вижу это сочетание латинских вокабул? Впрочем, разумеется, то был я, и мои сетования — не более чем риторика, годная для дам или для палаты общин; но всего ее могущества, которое в наше время склонны столь переоценивать, неостанет, чтобы проникнуть в суть вещей. Я же должен обнажить перед Вами свое сокровенное, некую странную выходку своего духа, если угодно, его болезнь, дабы Вы поняли, что от литературных трудов, которые, по Вашему убеждению, должны занимать меня ныне, я отделен такой же бездной, как и от трудов прошлых лет, сейчас настолько чуждых мне, что я не решаюсь называть их своей собственностью.

Не знаю, что более достойно удивления, — Ваша ли неизменная благосклонность ко мне или поразительная острота Вашей памяти? Вы помните обо всех, даже самых ничтожных замыслах, какие только не рождались у меня в то прекрасное время нашего общего вдохновения. Я в самом деле собирался описать первые годы правления нашего покойного государя славного Генриха VIII. Основой мне должны были служить записки моего деда, герцога Эксетерского, о его переговорах с Францией и Португалией, а Саллюстий, подобно неиссякаемому источнику, дарил меня в те счастливые дни чувством формы, глубокой, истинной, внутренней формы, прозреваемой лишь за гранью риторических ухищрений, о которой уже нельзя сказать, что она только устрояет материал, ибо она пронизывает его, возвышает, созидая поэзию

и истину в одном; в ней — игра горних сил, столь же волшебная, как в музыке или алгебре. Из всех моих планов этот был мне наиболее дорог.

Но что человек, и что такое его планы!

Да, я был одержим множеством замыслов. Ни об одном из них Вы не забыли в Вашем добром письме. Каждый из них впитал в себя каплю моей крови, и их нынешнее явление — словно тусклый танец мошкеры в тени, у мрачной стены, куда не заглядывает больше яркое солнце прежних блаженных дней.

Сказания и мифы древних, ставшие предметом бесконечных и бездумных словословий наших живописцев и ваятелей, я хотел прочесть как иероглифы вечной неисповедимой мудрости, дыхание которой, словно под неким покровом, я, казалось, порой угадывал.

Этот замысел памятен мне. Он возник из какого-то неопределенного телесного и духовного томления; как распаленный погоней олень жаждет окунуться в воды, так я жаждал влиться в эту нагую сверкающую плоть, в этих сирен и дриад, в Нарцисса и Протея, Персея и Актеона, я хотел раствориться в них и возглаголить из них их языками. Я хотел. Я хотел еще многого. Я собирался начать *Aprophptegmata* на манер Цезаревых — помните, о них говорит Цицерон в одном из своих писем. Моим намерением было свести воедино наиболее замечательные высказывания, которые мне удалось собрать, общаясь с учеными мужами и остроумными дамами нашего века или с иными любопытными простолюдинами, или во время моих путешествий при встречах с людьми просвещенными и выдающимися; к сему я хотел присовокупить замечательные мысли и изречения древних и итальянцев, равно как и прочие перлы разума, извлеченные мной из книг, рукописей или бесед, а также распорядок особенно красивых празднеств и карнавалов, необыкновенные случаи преступлений и безумств, рассказы о юродивых, описания наиболее славных и достопримечательных архитектурных творений Голландии, Франции и Италии и еще многое другое, объединявшееся заголовком: «*Nosce te ipsum*».

Словом, все бытие представлялось мне, пребывавшему в состоянии неослабевавшего восторга, великим единством: для меня не существовало противоположности между мирами духовным и вещественным, так же как не было ее между дикостью и культурой, произведением искусства и ремесленной поделкой, жизнью в обществе и уединением. Во всем находил я присутствие природы — в бреду безумия столь же, сколь и в тонкостях испанского церемониала, в косноязычии деревенского увальня не меньше, чем в самом красноречивом иносказании; во всей природе мне мерещилось мое собственное отражение. Наслаждение, которое я испытывал в своем охотничьем домике, когда жадно пил пенящееся парное молоко, только что под руками нечесаного создания набегавшего из вымени прекрасной кроткоглазой коровы в деревенский подойник, было не меньше того, которое я ощущал, сидя в своем studio на встроенной в нишу окна скамье и высасывая из какого-нибудь фолианта пенящийся, сладкий нектар духа. Одно было равно другому, и в том и в другом в равной мере были и неземная греза, и власть плоти, и так было со всем пространством жизни, ближним и дальним; везде я был в самой сердцевине ее, и ничто в ней не было для меня простой видимостью. Иной раз мне чудилось, что все вокруг — лишь некая притча и во всяком творении скрыт ключ к другому, и я мнил себя способным завладеть этим ключом и отомкнуть им столько тайн, сколько будет возможно. Отсюда название, которое я намерен был дать своему энциклопедическому сочинению.

Пусть тот, кому знакомы подобные настроения, сочтет падение моего духа от столь необъятных притязаний до крайнего смирения и бессилия, которое ныне есть неизменное состояние моей души, результатом вмешательства божественного про-

мысла. Но мне ничего не говорят такого рода религиозные объяснения: они подобны паутине — сколько умов, увязая в ней, находят умиротворение, но моя мысль прорывает ее насквозь и повисает в пустоте. В моих глазах таинства веры обрели поэтичность возвышенной аллегории, которая, как светлая радуга, парит над полем жизни, вечно далекая, вечно ускользающая от всякого, кому вздумалось бы достичь ее, чтобы закутаться в край ее плаща.

Но увь, мой почтенный друг, точно так же ускользают от меня и земные понятия. Не знаю, как и описать эти непостижимые мучения духа: стоит мне протянуть руки, как ветвь с желанным плодом уходит вверх, стоит приблизить жаждущие уста, как вода с журчанием отбегает прочь. Иными словами, болезнь моя заключается в том, что я утратил дар последовательно мыслить и связно излагать.

Сначала мало-помалу я сделался неспособен рассуждать на высокие либо отвлеченные темы и пользоваться при этом словами, которые не задумываясь, по десятку раз на дню произносит всякий. Я испытывал необъяснимое раздражение от одного произнесения слов «идеал», «душа», «тело». Что-то внутри меня мешало мне высказываться о делах при дворе, прениях в парламенте или о чем-либо подобном. И не из каких-то особых соображений — Вам известна моя граничащая с легкомыслием откровенность; нет, просто абстрактные слова, какими неизбежно пользуется человек, высказывая то или иное суждение, у меня на языке распадались, как под ногой рассыпаются перестоялые грибы. Однажды мне случилось уличить в какой-то детской лжи мою четырехлетнюю дочь Катарину-Помпилию. Я хотел объяснить ей необходимость всегда говорить правду, но слова, готовые было слететь с моих губ, вдруг расплылись в таком множестве неуловимых оттенков, стали вдруг так неотличимы друг от друга, что я, пробормотав кое-как до конца начатую фразу, сказался нездоровым (со мною в самом деле сделался приступ головной боли) и, бледный, вышел, захлопнув за собой двери. Только в седле, в бешеной скачке по безлюдным полям я несколько пришел в себя.

Однако со временем эта напасть, подобно все глубже въедающейся ржавчине, усугубилась. Даже в домашней, непритязательной беседе, в разговорах, которые любой из нас ведет запросто, с уверенностью лунатика, все стало для меня настолько сомнительным, что и в них я не мог уже принимать никакого участия. Стоило мне услышать что-либо вроде: для такого-то дело кончилось хорошо или плохо; шериф Н. — дурной, а пастор Т. — хороший человек; жаль арендатора М., его сыновья моты; некто, напротив, достоин зависти, имея рачительную дочь; род таких-то входит в силу, а таких-то, наоборот, приходит в упадок, — как мною овладевала непонятная ярость, подавить которую стоило мне большого труда. Все в этих словах казалось мне недоказуемым, натянута, легковесным до крайности. Мой ум заставлял меня рассматривать всякий предмет, о каком заходила речь в таких разговорах, в чудовищных подробностях; подобно тому как однажды я увидел через увеличительное стекло кусочек кожи на своем мизинце, похожий на покрытую бороздами и рытвинами пашню, так теперь выходило у меня с людьми и их поступками. Мой взор уже не мог упрощать их, как велит нам привычка. Все распадалось у меня на части, эти части снова на части, и никакое понятие не могло скрепить их. Вокруг меня было море отдельных слов, они сворачивались в студенистые комочки глаз, упорно глядевших на меня, а я вглядывался в них: они были как воронки водоворота, глядя в которые ощущаешь дурноту, а они все кружатся и кружатся, и за ними — пустота.

Я пытался искать спасения в мире древних. Платона я избегал: его метафорический взлет страшил меня. Надежды возлагал я на Сенеку и Цицерона. В свойственной им гармонии ограниченных упорядоченных категорий я думал вновь обрести равнове-

сие. Но пропасть между ними и мной оказалась непреодолимой. Они были понятны мне, эти категории, я прозревал чудную игру их взаимосвязей — так золотые мячики пляшут в струях великолепных фонтанов. Я мог обозреть их со всех сторон, наблюдая игру струй. Но они существовали сами по себе; сокровенное, сугубо личное моей мысли никак не участвовало в этой игре. Наедине с ними меня охватывало чувство невыносимого одиночества: мне казалось, я заблудился в парке, где нет никого, кроме безглазых статуй; я бежал, бежал без оглядки.

С той поры я веду существование, которое, боюсь, покажется Вам непостижимым, настолько оно лишено всякой духовности, всякой мысли. Такое существование, впрочем, мало чем отличается от того, которое ведут мои соседи, родственники, да и большинство поместных дворян нашего королевства, и оно не лишено мгновений радостных и животворных. Мне будет нелегко объяснить Вам, в чем заключаются эти мгновения, слова снова не идут ко мне. Ибо в такие моменты мне объявляется нечто совершенно не поддающееся обозначению, а возможно, и не терпящее никакого обозначения, изливается, как в сосуд, в какую-нибудь обыденную мелочь бьющим через край током высшей жизни. Прошу Вас, будьте снисходительны к моим не слишком толковым примерам, но без них я рискую остаться непонятым. Этим сосудом откровения может стать все: забытая лейка, брошенная на пашне борона, собака, греющаяся на солнце, убогое кладбище, калек, крестьянская хижина — каждый из этих предметов, как и тысячи прочих им подобных, мимо которых взгляд обычно скользит с будничным равнодушием, в какой-то момент, приблизить который я не властен, внезапно может принять возвышенный и трогательный облик; наша речь слишком бедна, чтобы описать его. Непредсказуемый выбор свыше может пасть даже на отчетливое представление о каком-нибудь отсутствующем предмете, и тогда стремительно и мягко накатывающаяся волна божественного одухотворения наполняет его до краев. Не так давно я приказал насыпать в молочные погреба одной из моих ферм крысиного яду. Под вечер я отправился домой и, как Вы понимаете, и думать забыл об этом. Я ехал шагом, копыта коня глубоко вязли в свежеспаханной земле, ничто не привлекало моего внимания, разве что вспорхнувший неподалеку перепелиный выводок, да вдали за горбатыми полями огромное закатное солнце. И вдруг перед моим внутренним взором распахнулся этот погреб, где сражался со смертью крысиный народец. Все, все было во мне: и сладковатый, острый запах яда, пропитавший промозглый воздух подземелья, и пронзительные предсмертные крики, сплетенные в судороге бессилия тела, разбивавшиеся о замшелые стены; хаос отчаяния, безумие, рыскающее в поисках выхода, глаза, полные ледяной ярости, когда двое сталкиваются у закопаченной щели. Но что я снова ищу помощи у слов, мною же отринутых! Мой друг, вспомните Ливия, его потрясающее описание последних часов Альбы Лонги: как они бродят по улицам, которых им не суждено увидеть более, как прощаются с родными камнями... Уверю Вас, друг мой, все это было в моем сердце, и пылающий Карфаген в придачу. Но мое чувство было даже выше, оно было божественнее, стихийнее, и оно было реальностью, абсолютной, высочайшей реальностью. Там была мать, рядом с которой в последних судорогах погибали ее сыновья, и она, обратив свой взор не на умирающих, не на бесстрастный камень стен, а куда-то в пространство, а сквозь него — в лежащую за ним бездну, скрежетала зубами! Слуга-раб, в бессильном ужасе застывший близ каменеющей Ниобы, должно быть, переживал то же самое, что пережил я, когда во мне душа зверя скалилась навстречу жуткой судьбе.

Извините мне мою пространный, но не думайте, что чувство, владевшее мною, было состраданием. Если Вы так подумали, значит, пример мой был слишком неудачен. Это было много больше и, одновременно, много меньше, чем сострадание. Это

была всеобъемлющая причастность, слиянность с теми существами, или, может быть, я ощутил, как некий флюид жизни и смерти, сна и бдения на одно мгновение пронзал их — откуда? Ибо что общего с состраданием, с привычным сочетанием человеческих понятий было в другом моем наитии, когда однажды вечером, наткнувшись под кустом орешника на лейку, забытую там мальчиком — помощником садовника, и глядя на эту лейку, на наполнявшую ее темную от тени дерева воду, на жука-плавунца, перебежавшего по глади воды от одного темного берега к другому, на все это скопление мелочей, я с дрожью, пронзившей меня от корней волос и до пят, почувствовал прикосновение бесконечности, и на языке у меня шевельнулись слова, которые, я знаю, найди я их, заставили бы херувимов, в которых я не верю, спуститься на землю? Я молча ушел с того места. Прошли недели, а я каждый раз, издали заведев этот орешник, обходил его стороной, отводя глаза, робея, боясь спугнуть отзвук чуда, витавшего в его ветвях, и неземной трепет, все еще наполнявший воздух вокруг кустарника. В такие мгновения самая ничтожная тварь: собака, крыса, жук, засохшая яблоня, сбегающий с пригорка проселок, поросший мхом камень — значат для меня больше, чем самая прекрасная, самая страстная возлюбленная счастливейшей из ночей, когда-либо испытанных мною. Эти немые, а порой и неодоушевленные создания отвечают мне такой осязаемой полнотой любви, что и вокруг них для моего растроганного взора уже нет ничего неживого. Мне кажется, что все, все, что есть, все хранящееся в моей памяти, все, чего ни касаются мои, пусть даже самые сбивчивые, мысли, — все это есть нечто. Даже тяжелая драма моего мозга, кажется мне, есть нечто; в себе и вокруг себя я внимаю восхитительной нескончаемой игре зовов и откликов. И среди этих перекликающихся кусков жизни нет ни одного, который оставался бы замкнут для меня. Тогда мне начинает казаться, что в моем теле заключена бесконечная совокупность шифров, открывающих мне Вселенную. Или что наше отношение ко всему существу могло бы быть иным, более проникновенным, если бы мы начали мыслить сердцем. Но как только спадают с меня эти диковинные чары, я делаюсь бессилен сказать о них что бы то ни было; я так же мало способен разумно описать эту объемлющую меня и весь мир гармонию или мое ощущение этой гармонии, как сказать что-либо определенное о процессах в своих внутренностях или о токе крови в моих жилах.

Если не брать в расчет этих случайных странностей, природа которых, телесная или духовная, остается к тому же мне неясной, жизнь моя невероятно пуста, и мне стоит большого труда скрывать оцепенение души перед женой, а перед моими людьми — полное равнодушие к делам хозяйственным. Думаю, только основательному и строгому воспитанию, которое дал мне покойный отец, а также давнишней привычке ни минуты не терять без дела я обязан тем, что мне удастся еще поддерживать внешний распорядок моей жизни и сохранять видимость, приличную моему званию и сословию.

Я занят перестройкой флигеля в своей усадьбе и время от времени заставляю себя беседовать с архитектором о ходе его работы; я продолжаю управлять своими именьями, и мои арендаторы и слуги, хоть и заметили, вероятно, мою молчаливость, вряд ли могут упрекнуть меня в недостаточном внимании к их нуждам. Никто из них, встречая меня во время моей ежевечерней прогулки верхом, стоя у ворот своих домов и почтительно снимая шапки, не догадывается, что мой взгляд, который они привыкли ловить, сейчас с тихой тоской скользит по испревшим доскам, под которыми они обычно собирают дождевых червей, отправляясь на рыбную ловлю; через узкое зарешеченное окошко проникает в горницу, где в углу неизменная низкая кровать под пестрым покрывалом дожидается грядущих смертей и рождений; подолгу покоится

на уродливой дворняге или кошке, крадущейся между цветочных горшков; что среди всех этих грубоватых атрибутов скудного крестьянского быта он ищет нечто, чья неброская наружность, чье никем не замеченное, лепящееся к вещам присутствие, чья бессловесная сущность может стать источником таинственного, невыразимого, безграничного восторга. Ведь безымянное мое блаженство вспыхнет во мне скорее при виде пастушьего костра вдали, нежели от созерцания звездного неба; последняя предсмертная песнь кузнечика, когда от облаков, гонимых осенним ветром над опустевшими полями, веет зимой, пробудит его скорее, чем величественный гул органа. И иногда мысленно я сравниваю себя с оратором Крассом, тем самым, про которого рассказывают, будто он до такой степени полюбил ручную мурену, угрюмую, красноглазую, немую рыбу, жившую у него в бассейне, что это стало предметом городских пересудов; и когда Домиций, желая выставить его глупцом, рассказал перед всем сенатом, что Красс проливал слезы над своей умирающей муреной, Красс ответил ему: «Да, меня заставила плакать смерть моей рыбы, ты же не оплакал ни одной из обеих твоих жен».

История этого Красса с его муреной часто вспоминается мне, я вижу самого себя в этом зеркале, отделенном от меня пропастью столетий. Дело, конечно, не в том ответе, который он дал Домицию. Этим ответом он сумел расположить к себе насмешников, обратив все в шутку. Мне же важна суть, а она ничуть бы не изменилась, если бы Домиций и обливался по своим женам кровавыми слезами искренней скорби. И тогда ему все так же противостоял бы Красс, рыдающий над своей муреной. Что, кроме пренебрежительной усмешки, может вызвать подобный человек, заседающий к тому же в вершащем мировые судьбы высоком сенате? Но есть безымянное нечто, заставляющее меня питать к нему совсем иные чувства, которые мне самому кажутся нелепыми всякий раз, как только я пытаюсь облечь их в слова.

В иную ночь образ этого Красса застревает у меня в мозгу, как заноза, вокруг которой все нарывает, пульсирует, кипит. Мне начинает казаться, что во мне самом идет какое-то брожение, со дна моего существа поднимаются какие-то пузыри, и оно волнуется и искрится, и все это — вроде лихорадочных мыслей, но таких, материя которых непосредственнее, зыбче, ярче, чем слово. И они подобны водоворотам, но если воронки слов ведут в бездны, то эти — как бы воронки в меня самого и в глубочайшие недра покоя.

Однако я чрезмерно обременил Вас, мой почтенный друг, пространным описанием необъяснимого явления, которое для прочих составляет мою тайну.

Вы сетуете по доброте своей на то, что ни одной книги под моим именем пока не дошло до Вас, «чтобы возместить Вам нехватку моего общества». Читая Ваши слова, я со всей определенностью, хотя и не без болезненного чувства, понял, что ни через год, ни через два, да и никогда более в моей жизни мне не написать никакой, будь то английской или латинской, книги. Неловко признаваться в странности, которая тому причиною. Может статься, свежий взгляд и Ваше безусловное надо мной духовное превосходство позволят Вам указать и ей место в гармоническом царстве духовных и физических феноменов. Причина эта в том, что язык, на котором мне, быть может, было бы дано не только писать, но и мыслить, не латинский, не английский, не итальянский или испанский, это язык, слова коего мне неведомы: на нем говорят со мной немые вещи и на нем, должно быть, некогда по ту сторону могилы мне предстоит дать ответ неведомому Судии.

Я желал бы в последние строки этого, вероятно, последнего письма, которое я пишу Фрэнсису Бэкону, вложить всю благодарность, все безмерное восхищение, какие я питаю к Вам, величайшему благодетелю моего духа, первому англичанину наше-